

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ОБ АЛЬМАНАХАХ 1827
ГОДА

Петр Андреевич Вяземский

Об альманахах 1827 года

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24510696

Аннотация

«Вот три запоздалые альманаха и разбор наш еще более запоздалый! Впрочем, книги наши не имеют срочной поры, после которой не удовлетворяют они минутным требованиям, временному любопытству. Русская книга всегда в пору, может быть именно от того, что она никогда не во время. Самое слово l'à propos не имеет значения ни в языке, мы в быту нашем...»

Содержание

I	4
II	28

Петр Вяземский

Об альманахах 1827 года

I

Вот три запоздалые альманаха и разбор наш еще более запоздалый! Впрочем, книги наши не имеют срочной поры, после которой не удовлетворяют они минутным требованиям, временному любопытству. Русская книга всегда в пору, может быть именно от того, что она никогда не во время. Самое слово l'à propos не имеет значения ни в языке, мы в быту нашем. Нет недостатка, который не граничил бы с выгодой: не расточая сил своих в гоньбе за минутными успехами, мы, может быть, сберегаем их для трудов вековечных; не волочась за молвою, мы, может быть, сочетаемся законным браком со славою, то есть с пользою, ибо истинная слава бывает возмездием только истинной пользы. До сей поры все книги наши, за таким малым исключением, что совестно и сказать, и за творениями первоклассных поэтов наших, только одни упражнения в письменной гимнастике, по коим мы судим о степени способностей каждого упражняющегося и о успехах общих в самом искусстве. Этот приговор строг, но справедлив. Докажем истину его следующим вопросом: может ли человек не запоздалый, а понятиями и умствен-

ными требованиями современник настоящей эпохи, может ли он ограничиться одним продовольствием Русских сочинений? Где мог бы он не только найти источник для приобретения новых понятий, но даже побудительную силу для приведения старого запаса в движение? Грустно признаться, но большая часть литераторов наших отстала не только от Европейских собратий своих, но даже и от многих соотечественных читателей. Мы удивляемся, что нас мало читают. Но кому же нас читать? Наши необразованные люди не любят чтения, а иначе они были бы образованными: образованным у нас читать почти нечего. Мы для одних не пишем, и пишем не для других. Вот решение задачи неприятной, но это так. Между тем, мы и не замечаем, что желание оправдаться в замедлении разбора книг, за несколько месяцев вышедших, завело нас слишком далеко. Оправдываясь перед читателями, ссоримся с своею братиею, которая не посмотрит на то, что и мы приносим повинную голову. Это и не по братски и не расчетливо. Читатели – люди посторонние, а к тому же не злопамятные; писатели – свои люди, а между своими уже нет прощения. Отвлеченные же наши сетования тем более здесь неуместны, что мы собираемся дать отчет в чтении трех книг, из коих каждая, по своему размеру, имеет внутреннее достоинство. Начнем с гостыи небывалой и изда-лека.

Астраханская Флора. Карманная книжка на 1837 год.
Заглавие два раза вводит читателя в обман. По первому про-

званию подумаешь, что это сочинение ботаническое; по другому можно подумать, что, на подобие других карманных книжек на такой-то год, и эта представляет собрание сочинений и переводов разных писателей, одним словом, литературный альманах, хотя впрочем и это название принято у нас злоупотребительно. Календарь, альманах – слова, из коих первое производится из Греческого и Латинского языков, а другое, по мнению иных из Арабского, других из Арабского и Греческого, третьих из древнего Саксонского, означают по смыслу своему разделение годового времени: во Французских и Немецких альманахах, посвященных литературе, все есть одно отделение, содержащее в себе то, что именно до альманаха относятся. Мы в своих книжках, отбросив существительное, удержали одно прилагательное. Это не беда: замечаем не в укоризну, а так, глядя на других, пришлось в речи попедагантствовать с лексиконом перед глазами. Таким образом *Астраханская Флора* не флора, *Карманная книжка* – не альманах, и книжка едва-ли карманная, по крайней мере, по нынешнему покрою наших платьев. Но и это не беда. Г-н росенменер, издатель *Астраханской Флоры* и по-видимому единственный участник в стихах и в прозе, в ней помещенных, может быть, обманул некоторых читателей двусмысленным заглавием, но во многом трудами своими оправдал требования тех, которые ожидают от книги им предлагаемой чтения приятного. Это главное. Весело думать, что из Астрахани, которая доныне подчивала столицы одними хвале-

ными арбузами, получаются стихи и проза, которые не были бы лишними в любом столичном журнале. Весело узнать, что там, где по предубеждению нашему, пускаются в оборот одни ограниченные понятия полудикой торговли, там между тем мысли и чувства Клейста, Гердера, Шиллера, Маттисона, Тидге находят отзыв и передаются нам на языке отечественном, вместе с мыслями и чувствами оригинальными. Для полного патриотического удовольствия, можно желать, чтобы книга, составленная в Астрахани, была там и напечатана; но видно легче иметь авторов, чем типографщиков. У нас есть Державин, но нет еще Дидота. Впрочем, на этом можно помириться: пускай пока печатают в столицах, а мыслят везде. Однако же мы можем похвастаться старинною библиографическою редкостью в этом роде. В Тобольске, в типографии В. Корнильева, в 1791-м году, издавалось от Тобольского главного народного училища и с дозволения управы благочиния, ежемесячное сочинение, под названием *Иртыш, превращающийся в Ипокрену*. Панкратий Сумароков был главным редактором его и некоторые из его стихотворений, тут помещенных, перепечатаны после в *Аонидах*.

В людях и в книгах должно добираться всегда красок и оттенков характеристических и местных: первые наши выборы в *Астраханской Флоре* пали на следующие статьи: поездка на ватагу, странствование по протокам Волжским, о концерте в Астрахани, вечер в Татарском ауле, разговор между Астраханским помещиком и тамошним Армянином. Из

статей, здесь упомянутых, узнаем о красотах живописной природы Астраханской, о некоторых любопытных подробностях, свойственных тому краю, об удовольствиях общества в городе; мы рады, что доходят до нас слухи о концертах, которые приучают уши Персидские, Индийские, Армянские к согласным строям Моцарта, Роде, Фильда, Чимарозы. Из последней статьи узнаем о нравственности Армянина Хачатуря Аравеловича, чего кажется, ни нам, ни другим читателям нужды знать не было. Из переведенных пьес в прозе, лучшею по языку и отделке показалась нам, отрывок из Маттисоновых воспоминаний: *Гора св. Бернарда*. В переводе некоторых парамифий Гердеровых, язык, кажется, слишком тяжел: в изложении подобных аллегорий нужно более игривости и свободы. Есть в рукописи полный Русский перевод сего замысловатого творения Гердера; желательно, чтобы переводчик, известный у нас по своей ясной и твердой прозе, хотя и редко он является у нас на авторской сцене, напечатал свой перевод, который, без сомнения, будет подарком нашей литературе ¹. В числе других переводов, помещенных в *Астраханской Флоре*, находим Немецкую повесть: *Семейственный роман* и *Волшебный колпакъ*, комедию Коцебу, переложенную на древние Русские нравы. В них нет прямо литературного достоинства и напрасно занимают они около трети книжки, которая от них толще, но не лучше. Немец, переделанный на Славянский лад, смешение Коцебу,

¹ Речь идет о Дмитрие Васильевиче Дашкове, бывшем Министре Юстиции.

Добрыни и Бояна, все это слишком сбивается на бенефисную литературу наших драматических приспешников. Может быть, эта комедия на сцене и позабавила бы зрителей. — Переводчик её, не хуже водевильных переводчиков, был-бы, как водится, после представления вызван кликушами приятелями на показ перед публику, но читатели хладнокровнее и рассудительнее зрителей; к тому же, г-н росенменер, по выбору других переводов своих, являет в себе сведущего литератора и, следовательно, должен быть строже сам в себе. Нам сдается, что издатель *Астраханской Флоры* еще молодой человек, недавно поступивший в ряды писателей. По крайней мере, желаем достоверности нашему предположению; тогда, при дальнейшем упражнении и прилежнейшем изучении свойств нашего языка и образцов нашей литературы, он, без сомнения, успеет исправить слог свой в прозе и набить руку на стихи, которые у него иногда отзываются учентческою неопытностью. Если же он уже в годах и может начесть несколько шевронов на службе Музам, то, отбывая надежды свои на будущее, останемся с благодарностью при том, что есть, надеясь только, что на будущий год Астрахань удержит свое место в статистико-литературной карте России. Пускай только более знакомит она Россию с собою, с природою своею, с жителями, обычаями их, с преданиями историческими, и мы обещаем литературному представителю её уважение и признательность читающих соотечественников. К сожалению, многие из наших провинциаль-

ных писателей просят в столичные и тем теряют цену свою и свой туземный вкус и запах. Для гостеприимного и радушного привета им в столицах, нужно, напротив, оставаться им провинциалами; но, разумеется, провинциалами умеющими хорошо и дельно говорить о провинции своей.

Литературный Музеум. В Литературном Музеуме явился вновь, как издатель, автор² и писатель заслуженный, которому наша литература обязана хорошими журналами, хорошими переводами и сочинениями. Радуемся новому обращению его к авторской деятельности. Начальная статья в *Литературном Музеуме*: Краткое обозрение 1826 года, писанное издателем. Первая половина в ней политического или, лучше сказать, газетного содержания и кажется неуместна. У нас еще нет и быть не может языка политического; ибо ни язык официальный, ни язык дипломатический не есть еще истинный язык публициста. Краткое обозрение современных событий не политическая история, а просто цветистая амплификация современных газет. Зачем же автору приниматься не за свое дело? События, которые он описывает, еще свежи в памяти читателей современных; потомкам же описание его будет излишне и недостаточно, ибо оно ничего им не разгадает и ни в чем не различествует с тем, что газеты передали подробнее и полнее. Есть время для летописей, которые ныне называются газетами, придет время и для истории. Современники могут быть только рукописными летописца-

² Владимир Измайлов.

ми или печатными газетчиками. В переходе от политика к литературе, автор изложил весьма хорошо несколько нравственных мнений о самом достоинстве литературы нашей, и заключения его – не благосклоннее тех, которые мы обнаружили выше. «Давно сказано, говорит он, что нет у нас главного достоинства: мыслить и заставлять мыслить других».

Только явления этой *безмысленности* приписываем мы с автором причинам различным. Он полагает, что писатели наши претворяются и сжимаются, что они, стоящие выше народа своего, не простирают полета своего на пределы некоторой посредственности, Мы, с своей стороны, не подозреваем их в лукавстве и признаем в них более откровенности. Писатели наши, за исключением весьма, весьма немногих, не выше народа своего, ибо нельзя определить высоту их тем, что они лучше большей части читателей своих знают, где поставить *e* или *e* и как удовлетворить прихотливым требованиям нашего письменного языка. У нас есть государственные правители, полководцы, негоцианты, художники, а нет ни по одной из частей их сочинения полного, руководства надежного: следовательно, не народ в долгу у писателей, но писатели у народа.

В литературной половине обозрения находим отчет о книгах, ознаменовавших, преимущественно, письменное бытие 1826 года; в суждениях автора отзывается вкус верный и опытный, за исключением некоторых приговоров, подлежащих сомнению. Например, мы согласны с автором, что в тво-

рениях Глинки (младшего) виден прекрасный отпечаток его души, ума и дарования, но находим неуместными следующие слова: «в подражаниях Корану Пушкин является счастливым соперником Глинки». О мастере своего дела, о поэте, который, по словам самого г-на Измайлона, готов, кажется, захватить один высоты Парнаса, нельзя сказать, что он счастливый соперник человека с дарованием, это правда, и с дарованием отличным, но все не первенствующим. Вообще находим, что определения автора во всей этой статье слишком безусловно похвальны. У нас обыкновенно нет середины между панегириком и сатирою, похвалою и бранью. Боясь раздражить самолюбие ближнего, мы настраиваем речь свою на торжественный лад и похожи на жрецов, коленопреклоненных перед кумирами. Автор обозрения позволяет себе общие укоризны, но в частном применении он держится неотступно похвалы неограниченной. Кажется, должно следовать совершенно противоположному правилу.

В общем объеме есть всегда нечто хорошее и удовлетворительное; в частности должны неминуемо быть недостатки. Указывайте на них смело и без лицепрятия, а не то в ваших поголовных мадригалах ничего не будет поучительного. В доказательство, что раннему историку трудно быть зрелым в суждениях своих, заметим противоречие, в которое впал автор как политик и литератор. В первой половине обозрения своего, на стр. 7, говорит он о Наполеоне «и раздавшаяся по земле слава едва не умолкла на его гробе под стоном все-

ленные и укоризнами века». В другой половине, упоминая о сочинении Пушкина, говорит он в стихотворении: *Наполеон*, хотя и не столь обильном великими красотами (как стихотворение: *к Овидию*), чего не искупят сии мысли и стихи:

Великолепная могила!..
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.

Если мы, по убеждению своему, не могли безусловно похвалить эту статью, которая, впрочем, отличается многими хорошими мыслями и благородными чувствами и вообще писана приятным слогом, то спешим с удовольствием похвалить беспрекословно и по всем частям другую статью издателя: *Русский наблюдатель в XIX-м веке*. Тут мысли, мнения и самое изложение оных – все примечательно, все убедительно. Не связанный посторонними уважениями, автор говорит независимо и откровенно все, что внушено ему умом просвещенным, сердцем благородным и патриотическою благонамеренностью, и говорит языком образованного литератора. Одним словом, *Русский наблюдатель в XIX-м веке* есть и Европейский писатель XIX-го века.

Речь в память Историографу Российской Империи, произнесенная в Обществе Истории и Древностей Российских членом оного Н. Иванчиным-Писаревым, и напечатанная в *Литературном Музее*, содержит в себе много хорошего.

Должно сперва похвалить автора за его намерение, которое в этом случае уже похвальное действие. Он убедился в неприличии молчания наших литераторов о писателе, который более или менее образовал все пишущее поколение наше и воздвигнул на голой равнине отечественной литературы здание великолепное и вековечное, памятник предкам от современников потомству. И в признательном благоговении к знаменитому согражданину, заплатил он ему по силам дань уважения и преданности. Чем заслуги, оказанные народу писателем истинно-народным важнее, тем свойственнее почувствовать им цену человеку благомыслящему и образованному, но тем труднее показать их в удовлетворительном свете и оценить их достойным образом. Не боясь оскорбить автора речи, скажем откровенно, что и после его творения, заслуживающего уважения, Карамзин еще ожидает панегириста себе равного. Но, повторяем, все не менее и побуждение и самое исполнение во многих частях приносит честь чувствам автора. Жаль, что панегирист в речи своей руководствовался некоторыми ошибками журнальных некрологов Карамзмна. Он скончался не на 61-м роду своей жизни, а 59-ти лет. Нет сомнения, что смерть Императора Александра поразила глубокою скорбью сердце его, любви и признательности исполненное, но нельзя сказать, чтобы она была причиною и его смерти. И слови панегириста: «он не мог пережить Александра», не имеют исторической достоверности. Твердый, хотя и чувствительный, проникнутый неогра-

ниченною доверенностию к Провидению, он оплакивал Государя, которого он любил не под одним величием царским, а и в простоте частных сношений; но между тем, как семьянину, гражданину и писателю, Карамзину предстояли еще на пути жизни и высокие обязанности и светлые надежды. Предположения автора о сетовании Карамзина, что сограждане и собратия его не отдавали ему должной справедливости, что завистливые, жалкие пигмеи, искушая душу великого писателя, нередко и его заставляли иметь нужду в стоической твердости, убедительно и прекрасно опровергаются словами Карамзина из письма его, напечатанного в *Литературном Музее*. Язык панегириста довольно хорош: видно, что он изучал творения писателя, которого хвалит. В иных местах встречаем черты истинного красноречия сердечного; в других можно-бы требовать более спокойствия и менее восклицаний. Обращение автора в последнем периоде речи, кажется, совершенно неуместно и отзывается семинаристским витийством. – *Приказ с того света*, повесть г-на Сомова, – шутка, свободно и весело рассказанная. В числе поэтов, участвовавших стихотворениями в составлении *Литературного Музеума*, находим имена: Пушкина А. С., Пушкина В. Л., Гнедича, Ф. Глинки, Баратынского, князя Вяземского, Раича и других. Читатели могут судить о приятном разнообразии стихотворного отделения *Музеума*, по одному списку наименованных поэтов. Нельзя без сердечного умиления прочесть прекрасные стихи, написанные к издате-

лю поэтом, коего имя угадается без подписи каждым читателем, сведущим в Русской поэзии. Ответ издателя откликнулся также поэтически на поэтический голос знаменитого песнопевца.

Северные Цветы, это годовичное собрание стихов и прозы, поддерживает свою славу. Иной журналист сказал бы, что барон Дельвиг любимый садовник в цветниках Муз и Граций и что цветы, которые приносит он на их алтарь, свежи, душисты и махровы.

Не желая отбивать хлеб у ближнего и его передразнивать, мы скажем простого и низкою прозою, что *Северные Цветы* – лучший из альманахов, выходящих ныне в России, и что может он смело выдержать соперничество с лучшими литературными альманахами Европейскими. В прежние годы барон Дельвиг занимался одним составлением Альманаха, который издаваем был книгопродавцем Слениным. В книжке нынешнего года не видать постороннего участия, и тем более литературное предприятие поэта, известного читателям с столь выгодной стороны, заслуживает их поощрительное одобрение. Книжка разделяется на прозу и стихи. В первом отделении есть любопытное письмо об Обществе Поощрения Художников, учрежденном в Петербурге, и служащее продолжением четырех писем: О состоянии художеств в России (в *Северных Цветах* 1826 года). Подобные сведения о предметах изящной статистики государственной занимательны и полезны везде, а тем более у нас, где все делает-

ся как будто под спудом и тихомолком. Должно признаться, что изящные искусства у нас еще не в большой чести. Этому удивиться не для чего: вспомним, что просвещение не разливается у нас постепенно, ровною и широкою рекою, а выбивается там и здесь сильными и быстрыми ключами. У нас должны быть промежутки в объеме успехов общей образованности; в нем, как в Москве, дворцы возле хижин, болота, примыкающие к садам, Азия, теснимая Европою, и Европа, смятая Азиею. Напрасно автор письма повторяет сказанное и пересказанное до пресыщения, что Русская публика не любит Русского и проч. Невнимание её, или недовольно попечительное внимание, к Русским художинкам объясняется не тем, что они Русские, но скорее тем, что изящные художества и вкус к сим роскошным плодам уже зрелой образованности у вас до сей поры еще только счастливые случайности, а не общий обычай; что они частные и ранния прививки, а не природное прозябение и народная потребность. От чего нет у нас театра, в истинном народном смысле? От чего нет у нас ни одного великого музыканта, ни по сочинениям, ни по исполнению, ни одного совершенного певца, ни одного знаменитого танцовщика? Неужели и здесь невнимание публики, как пагубное колдовство, умерщвляет дарование в самом зародыше, не дает ни рукам, ни ногам расправиться, ни голосу получить звучность, гибкость и мягкость, ни музыкальным идеям развиться и проч.? Дело в том, что вкус к произведениям изящных художеств есть у нас пока одна, если можно

сказать, аристократическая принадлежность, и частью также прививная; что этот вкус, по большей части, только одна из отраслей роскоши богатых вельмож, и потому, если кто из них и собирает картины или изваяния, то хочет уже именно предметов роскоши Европейской и покупает единственно произведения мастеров знаменитейших. Тут до патриотизма дела нет. Любителю и знатоку живописи все же приятнее иметь в своей галлерее Рафаэля, чем Ефрема, хотя он и коренной *Российских стран маляр*. Заметим еще, что нынешние успехи наши в художествах возрастают в одно время с понижением частных финансов наших, и что хлебные неурожай помещиков должны препятствовать обильной жатве и художников. Не все же князья Юсуповы, Голицыны, чтобы поддерживать искусства и художников большими денежными тратами. Однакож, нет сомнения, что учреждения художественных обществ, выставок произведений искусства, что все сии средства соревнования и поощрения, при старании писателей и журналистов – обращать внимание сограждан на успехи наши по сей части народного богатства, послужат к обширнейшему и повсеместному распространению изящного вкуса и просвещенного мотовства. Желательно, чтобы язык и слог упомянутых писем был более в ладу с содержанием и тщательнее обработав. В них часто встречаешь обороты речей вовсе не авторские, а приказные, как например: *издание скоро имеющее выдти в свет*. – За эту статью следует письмо Батюшкова, писанное в 1814 году; оно, на-

против, отличается красотой и примерным искусством в письменном слого. Должно радоваться, что с некоторого времени начали показывать писателей наших запросто и печатать их, так-сказать, в домашнем их быту. Эти нескромности приносят не одно удовольствие любопытным читателям, но и пользу языку, доставляя материалы для образования среднего наречия, чуждого чопорной строгости книжного и своевольности разговорного. Отрывки писем из Италии, здесь же напечатанные, занимательны и приятны; легкою свободой слога непринужденного и более умно-светского, чем учено-авторского, облакаются в них не только беглые черты веселого остроумия, но часто и светлые замечания ума наблюдательного. ³

В двух повестях: *Русая коса* и *Юродивый* нет ничего весьма замечательного, но их прочтешь с удовольствием. В последней более действия и, следовательно, более сущности, чем в первой; но смерть Юродивого, пуля артиллерийского офицера, видно не мастера своего дела, которая попадает не в противника, а в постороннего свидетеля, не смотря на то, что другие свидетели взялись держать его, все это довольно сбивчиво и неестественно. Вообще, кажется, ваши кандидаты в Вальтеры-Скотты не попали еще на истинный путь. Они пишут не с природы, а с кукол и болванов, которые одели они по своему; портреты и картины их, не изображая лиц и

³ *Позднейшее примечание:* Вероятно говорится здесь о письмах Василия Александровича Перовского.

явлений, знакомые нам по слуху и наблюдениям, не отражаются и в нас верно и глубоко. Вся эта фантазмагория скользит как в тумане. Если романисту не быть верным живописцем нравов и лиц, то должен он в вымыслах своих и отвлеченных изображениях стремиться к нравоучительной цели. Средства его в таком случае будут медлительнее и действие холоднее, но по крайней мере все достигнет он до чего-нибудь. Г-н Булгарин, кажется, постигнул истину этого правила в рассказе, напечатанном в *Северных Цветах*: он в лунную ночь, по развалинам Альмодаварским, сквозь военные ужасы и мимо какой-то сумасшедшей, ведет читателей к следующему нравоучению, которое хотя и не очень ново, но не менее того очень нравоучительно: «О люди! зачем вы терзаете друг друга, когда, делая добро, можете быть счастливыми».

Именно так! что дело, то дело. Что можно сказать против этого? Рецензент *Северной Пчелы* объявляет, что статья содержит в себе *истинную*, трогательную повесть об одной Испанке, лишившейся ума в ту минуту как изверги-мародёры убили её жениха. Нечего сказать и против этого! Кому же и знать об истине и трогательности повествования г. Булгарина, как не *Северной Пчеле*?

В *Чудесной сопутнице* и в *Осенних днях* узнаем кисть Ф. Глинки. Живопись и краски его несколько однообразны; но светлый сумрак, которым он одевает вымыслы воображения, недовольно разноцветного, имеет какую-то прелесть. Только пора, кажется, автору, одаренному истинным умом и чув-

ством, настроить талант свой на новый лад, а то поневоле назовешь однообразные аллегории его знакомыми незнакомками. Статья: *О примечательном слепом* – не без занимательности. Любопытно бы знать, познакомился-ли с Чесноковым слепой Английский путешественник Гольман. Такая встреча была бы довольно странная и достопамятная.

Сущность *Выдержек из Записной Книжки* известна читателям *Телеграфа* и читателям других журналов по критическим замечаниям на многие из выдержек, и потому не считаем за нужное говорить о тех, которые напечатаны в *Северных Цветах*.

От прозы, у нас как-то все еще худо цветущей и напоминающей песню: Ах! как бы на цветы да не морозы, перейдем к поэтическому цветнику: он разнообразнее и богаче.

Александр Пушкин и здесь, как и в самой поэзии нашей, господствует.

Письмо Татьяны, из 3-й песни *Евгения Онегина*, и ночной разговор Татьяны с её нянею, из 3-й главы *Евгения Онегина* (вот точка преткновения для будущих наших Кеппенев; может возникнуть спор о существовании двух Евгениев Онегинных: поэмы и романа), – две прелести и две блистательные победы, одержанные всемогуществом дарования над неподатливым и мало поворотливым языком нашим. Письмо и разговор Татьяны не отзываются авторством: в них слышится женский голос, гибкий и свежий. Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну, без

нарушения женской личности и правдоподобия в слогe: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозою, думал даже написать его по Французски, но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстати и сердце женское запросто и свободно заговорило Русским языком. оно оставило в стороне Словарь Татищева и Грамматику Меморского. Баратынский, в сказке: *Телема и Макаръ*, счастливо перевел Вольтера; но в послании к Богдановичу едва ли не еще удачнее подделался он под него. Отличительные свойства посланий поэта, образцового в сем роде, непринужденный язык, веселое остроумие, переходы свободные, мысли светлые и светло выраженные, отличают и Русское послание. Можно только попенять поэту, что он предал свою братию на оскорбление мнимоклассических книжников наших, которые готовы затянуть песню победы, видя или думая видеть в рядах своих могучего союзника. Они, пожалуй, по простоте, или по лукавству, станут теперь решительно ссылаться на слова Баратынского:

.... Новейшие поэты

Всего усерднее поют свою тоску.

На свете тошно жить, так бросьтесь в реку!

Иной бы молвил им: Увы, не в этом дело!

Ни жить им, ни писать еще не надоело.

И правду без затей сказать тебе пора:

Пристала к Музам их немецких Муз хандра.

Жуковский виноват: он первый между нами

Вошел в содружество с Германскими певцами.

Стихи хороши, очень хороши, насмешливы и остроумны; но должно помнить, что поэт шутит, хотя мимоходом и намекал на истину. Фонтенель говорил, что будь у него все истины в горсти, он не раскрыл бы руки. Не каждый умеет понимать истину: иной подумает, что поэт и в самом деле признает хандру отличительным свойством музыки Виланда, Шиллера и Гете, что он не шутя обвиняет Жуковского в сближении Русской поэзии с Германскою.

Отрывок из поэмы: *Наталья Долгорукая* дает желание увидеть скорее в целом новое произведение песнопевца Чернеца и переводчика *Абидосской Невесты*. Можем порадовать любителей отечественной поэзии обещанием, что эта поэма выйдет в свет к зиме, и что автор её хочет, сверх того, заняться новым изданием перевода: *Абидосской Невесты*, в котором исправит он некоторые отступления от подлинника.

Талант барона Дельвига имеет отличительные свойства, не сливающиеся с господствующими признаками нашего времени. Поэзия его, как воды Аретузы, сохраняющие свежую сладость свою и при впадении в море, протекает между нами, не заимствуя ни красок, ни вкуса разливагося потока. Первобытная простота, запах древности, что-то чистое, независимое, целое в соображениях и в исполнении, служат знамением и украшением лучших его произведений. Его Русские песни и стихотворения во вкусе древних, как,

например, *Друзья и Гений-хранитель*, напечатанные в *Северных Цветах* нынешнего года, поражают какую-то прелестью древнею, но никогда не стареющею: так, отыскиваемые драгоценные памятники искусства веков первобытных занимают почетное место и посреди блестящих и гордых свидетельств нового просвещения. Если поэт и здесь подражатель, то, по крайней мере, он не ученический переписчик: перерождаясь в древних, он дает старине своеобразие новизны.

Рыбаки, идиллия г-на Гнедича, уже известная любителям поэзии нашей, перепечатана здесь с некоторыми переменами и прибавлениями, но не такими, о коих говорит рецензент *Северной Пчелы*. Напрасно указывает он на несколько новых стихов, в начале второй части идиллии: в этом месте находятся только легкия поправки, а значительное дополнение встречается в первой части, в описании слепца. Хорошо хвалить поэта, достойного уважения, по всем отношениям; но еще лучше наперед прочесть его, чтобы знать по крайней мере, что и как сказать о нем ⁴. Эта Русская идил-

⁴ Иной подумает, что *Телеграфу* вменяется в непреложную обязанность противоречить литературным суждениям *Северной Пчелы*; но что же делать, когда она как будто вменяет себе в обязанность противоречить иногда истине? Непреложная обязанность критики есть служение истине и пользе положительными и отрицательными средствами, то-есть: преподаванием здравых мнений и изобличением несправедливых. Ас. (*Позднейшее примечание*: Многие статьи мои, напечатанные в *Телеграфе*, означены подписью Ас., то-есть сокращением слова *Асмодей*. А это прозвище приписано было мне Арзамасским обществом, в числе других прозвищ, взятых из баллад Жуковского и розданных прочим членам. Помнит-ся мне, что после другие Лже-Асмодеи присвоивали себе мое имя, равно как и

лия также есть попытка, заслуживающая внимание ценителей отечественной поэзии. Не входя в подробное исследование, скажем, что если есть место идиллиям и эклогам в понятиях наших современных, то быть им в окладках, присвоенных бароном Дельвигом и г-м Гнедичем, Пастушество Фонтенеля, Сумарокова и последователей их, также смешно, как парики, которыми были навьючены Греческие и Римские герои старого Французского театра. Исправления, сделанные поэтом во втором издании своей идиллии, служат все ей в пользу: только жаль, что он оставил еще несколько неисправностей и несообразностей; например:

В те тайные чувства минуты, когда вдохновенье
От неба нисходит.

В первом полустии смысл совершенно сбит от неправильной разности слов. У нас много свободы в сочетании существительных с прилагательными и других частей речи, но все же должны быть границы и этой свободе. А здесь выходит: *не тайные минуты чувства, а тайные чувства минуты*. В начале оба рыбака разного возраста:

Один престарелый, другой лишь брадой опушался.

звание *Журнальнаго същика*, которым я иногда подписывал свои журнальные заметки. Все это дело старое, и здесь упоминается только для присяжных библиофилов и *журналофилов*.).

В продолжении рыбак младший напоминает старшему, как будто о младости, проведенной вместе, говоря:

Про реки знакомые, где мы учился ловле,
Про доли зеленые, где мы играли младые,

В словах младшего рыбака боярину на вопрос его:

Но в промысле ты не ленишься-ли, рыбарь, для песней?

– нет ответа на сказанное.

Предлагая здесь наши придирки маловажные и, может быть, сомнительные, мы, по крайней мере, доказываем, что прочитали произведение поэта со вниманием, которое он заслуживает.

Читатели найдут в *Северных Цветах*, сверх всего упомянутого вами, стихи Веневитинова, которого смерть похитила у муз и отечества, в полном цвете прекраснейших надежд; стихи Плетнева, исполненные тихого чувства и примерного сладкозвучия, Ф. Глинки, князя Вяземского, Ф. Туманского, Илличевского, Ободовского, Ознобишина, Глебовых (Александра и Дмитрия), Ротчева, Востокова (продолжение полезного и внимания достойного перевода Сербских песней), В. Григорьева, И. Балле, П. Шкляревского, В. Шемиота, И. Великопольского, М. Яковлева и одного поэта безъяменного, но под № 1...8... Между сего множества имен, читатели заметят отсутствие Языкова и производство некоторых рядо-

вых стихотворцев из линейных альманахов в список гвардейского легиона. Посмотрим, не выпишут-ли их со временен в Парпасский гарнизон за стихи, неприличные званию истинного поэта.

II

И все то благо, все добро!
Державин.

Сколько альманахов на 1827-й год и ряд их еще не со-
мкнут: запоздалые явятся после. Сколько открывшихся по-
прищ для суетности поэтов и прозаистов, поживок для чи-
тателей, требующих разнообразной, но не обременительной
пищи, для критиков, нуждающихся в работе полегче и при-
способленной в их трудолюбию. Нельзя не порадоваться
этой письменной промышленности, несколько оживившей
застой нашей литературной торговли. Да могут-ли, спро-
сят, при малом числе наших зажиточных промышленников
в литературе, поддержаться достойным образом предприя-
тия слишком частые и частные? Нет, без сомнения: некото-
рые альманашные дома, пораженные банкротством, оказы-
ваются несостоятельными перед читателями своими. Паде-
ния эти прискорбны, но все предпочитаю их совершенной
безжизненности на Парнасской бирже; к тому же, в числе со-
мнительных бумаг, пущенных в оборот, встречаются иногда
бумаги верные, залого надежные, которые выручить можно
после. Одни журнальные монополисты гневаются; но, как мы
уже сказали, до журналистов читателям дела нет. А как мы
говоря, писатели созданы для читателей, а не для журнали-

стов, хотя если спросишь у сих последних чистосердечного признания, то они готовы сказать, что и читатели и писатели созданы для них, как золотых дел мастер, в басне Красицкого, говорит, что носы созданы для табакерок. Но таковым мастерам золотых и журнальных дел можно сказать с Мольером: Vous êtes orfèvre M. Josse. Нет сомнения, что появление книг, занимательнейших по приятности и пользе, было бы утешительнее, но, простирая наши требования и надежды далее и выше, не станем с излишнею спесью и неуместным презрением отвергать и скроуное вспомоществование. Бедный сердится не на полтинник, который у него в кармане, а на то, что у него нет десяти рублей. Возьмем пример с него в нашей литературной бедности, и пока не разбогатеем, не станем прятать пустых рук в карман, когда добрые люди предлагают нам посильные подаяния.

Приступим к беглому обозрению шести альманахов, лежащих перед глазами, и начнем с совета покупателям и читателям книг: не верить нам на слово и, не смотря на приговоры наши, поверять их собственным испытанием; убедительно им советуем купить и прочесть все шесть альманахов, о коих идет здесь речь, и все предыдущие и в свое время все последующие. Русские книги, по сравнению, довольно дороги отдельно; но за то дешевы в общем годовом итоге. За несколько сот рублей в год поквитаетесь вы по совести с Русскою литературою.

Северная Лира может, кажется, быть призвана за предста-

вительницу Московских муз. Имена писателей, в ней участвующих, принадлежат по большей части Московскому Парнассу: не знаю, можно ли сказать: Московской школе, хотя точно найдутся признаки отличительные в новом здешнем поколении литературном. Вообще вся ваша литература мало имеет в себе положительного, ясного, есть что-то неосознательное, облачное в её атмосфере. В климате Московском есть что-то и туманное. Пары зыбкого идеологизма носятся в океане беспредельности. Впрочем, из этих туманов может еще проглянуть ясное утро и от них останутся одни яркие блестящие на свежей зелени цветов. Один из издателей *Северной Лиры*, г-н Раич, уже знаком с выгодной стороны читателям; опыты другого носят признаки дарования. Судя по некоторым отрывкам, кажется, он занимается литературою восточных народов: такое изучение может принести много пользы нашей, если оно доведено будет с успехом до конца. Полуисполнения, как в других сферах, так и в литературе, ни к чему, или, по крайней мере, к немногому служат. Мало пользы, да и радости мало, видеть под маловажными статьями в прозе или в стихах отметку, что это подражание Персидскому, Арабскому, Монгольскому и проч. и проч. Такая пестрота даже и не ослепительна. Из сочинений г-на Раича, здесь помещенных, важнейшие – в прозе: *Сравнение Петрарки и Ломоносова* (по крайней мере думаем, что оно писано самим издателем, хотя под статью означена одна заглавная буква: Р).; в стихах: *Отрывок из Освобожденного*

Иерусалима; смерть Свенона. Вообще в характеристических сравнениях двух авторов бывает более полуистин, чем истины; более изысканности, насильственности, чем естественных прикосновений. Кто-то читал Риваролю сравнение Расина и Корнеля. Выслушав чтение, Ривароль сказал: «По моему мнению, можно сравнение наших трагиков сократить таким образом: общее в них, что тот и другой писали трагедии; разность, что одного звали Фома Корнель, другого Иван Расин». В сравнении Петрарки и Ломоносова, некоторые главные черты их, а особливо же первого, означены верно и живо, но, признаюсь, усматриваю редко точки, где эти черты сливались бы вместе. За исключением влияния того и другого на современную каждому поэзию, учености того и другого поэта и замечания, что Петрарка остался представителем Итальянской литературы XIV века, Ломоносов считается представителем литературы Русской века Елисаветы, не понимаю: в чем и как хотел сочинитель сводить их? Не слишком-ли также увлекается он любовью в Итальянской словесности и Петрарке, когда радуется, как хорошей находке, что Ломоносов, «умел счастливо перенести в свои творения много, очень много Итальянского и даже некоторые, так называемые *concetti*». Едва ли и подлинные *concetti* не безобразная прикраска Итальянских стихов, а заимствованные *concetti* на Русский лад и того хуже. Впрочем, вероятно в Ломоносове этот мишурный блеск не подражание, а просто погрешность, свойственная худому вкусу, не озаренному светом здоровой

критики, и насильственной игре воображения. В сей статье встречается забавная обмолвка. Автор говорит, что из Понтремоли в Неаполь пришел старец, и к тому же слепой, чтобы видеть Петрарку. Впрочем, за исключением основной мысли сего сравнения, которая по существу своему, как мы сказали выше, всегда сомнительна, и здесь, в применении к Петрарке и Ломоносову, кажется еще менее удовлетворительного, статья сия имеет неоспоримое достоинство литературное: в ней заметны сведения в Итальянской словесности, хороший слог, благородные чувства и направление ума благонамеренное. Опыты г. Раича в переводе *Освобожденного Иерусалима* уже известны читателям, также как и критические замечания, к коим они подали повод. Находят, что куплет, из 12-ти стихов г-на Раича, не отвечает итальянской октаве; что он не приличен поэме, потому что присвоен Жуковским балладе. Но какую же форму принять? Итальянская октава, по бедности нашей в рифмах, неприступна для большего творения. Александрийский стих слишком важен и утомителен со временем. Баллада принадлежит повествовательно-лирическому роду; поэма, разделенная на стансы, может также отнестись к роду лирико-эпическому. Сообразя все это вместе, мы готовы почти оправдать г-на Раича. Отлагая в сторону форму, должно признаться, что стихи переводчика часто живы и сочны, почти всегда звучны и вообще хороши. В отрывке: *Смерть Свенона*, язык вернее, строже и зреее, чем в прежних опытах: в нем гораздо менее и почти вовсе не

находится прежде встречавшихся заимобразных оборотов Жуковского, которые могут быть хороши у него, потому, что они его коренные, но становятся погрешными, когда они пересажены на чужую почву. По любви г-на Раича к Итальянской литературе и по сведениям его, должно желать, чтобы он короче познакомил нас с нею, предлагая нам в прозаических переводах и критическом рассмотрении лучших писателей Итальянских, стихотворцев и прозаистов. Переводы в стихах приятны и льстят более суетности переводчиков, но могущество стихотворства так сильно, что, забывая о подлиннике, мы судим перевод, как оригинальное творение; переводы в прозе полезнее, более действуют на язык, на который переводят, более пускают идей, образов в обращение и всегда совершеннее знакомят и сближают литературы и языки. На переводчике в стихах лежат две неволи, а и с одною справиться тяжело.

В числе хороших стихотворений, помещенных в *Северной Лире* и носящих подписи уже известные, отличаются начальные опыты поэта, в первый раз являющегося на сцене. Стихотворения Андрея Муравьева: *Ермак*, *Воззвание к Днепру*, *Русалки*, Отрывок из описательной поэмы: *Таврида*, исполнен надежд, из коих некоторые уже сбылись. Выпишем несколько стихов из *Русалок*:

Волнуется Днепр, боевая река,
Во мраке глухой полуночи;

Уж облако месяц прорезал слегка
И неба зарделися очи.
Широкия идут волна за волной
И с шумом о берег бьются,
Но в хладном русле, под ревушей водой,
И хохот и смех раздаются...
Как под вечер звезды ясные
Заиграют в небесах,
Друг за другом, девы красные
Выплывают на волнах...
Русы косы рассыпаяся,
С обнаженных плеч бегут,
По валам перегибаяся,
Золотым руном плывут;
Грудь высокая волнуется
Сладострастно между вод,
Вал ревнивый полюбуется
И задумчиво пройдет;
Руки дев, как мрамор белые,
Подымаются, падут;
То в восторге юной радости
Будят песнями брега,
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога
Над водою....

Картина прелестная и во всех частях с искусством выдержанная: последняя черта удивительно игрива. Можно только заметить лишнее слово в стихе:

И хохот и смех раздаются –

смех после хохота – вставка, и неправильное ударение в слове: *русло*. *Ермак* написан другою кистью: краски здесь мрачные и более силы в чертах; но в нем также есть живая поэзия в вымысле и выражении. Посреди имен известных и анонимов, в подписях *Северной Лиры* встречается загадочное имя: Делибюрадер. Вот одно из его стихотворений, с Арабского:

Нама

Уаль нашру мискун.
Усть её дыханье –
Мускус благовонный;
А ланиты – розы;
Зубы – млечны перла;
Стан – лозы стройнее;
Бедра округленны –
Холмики песочны;
Локоны густые –
Мрак осенней ночи;
А лицо сияет –
Словно полный месяц.

Скажите по совести: не правы ли мы, когда сказали, что мало радости и пользы от похищений такого рода, хотя и добыты они издалека? Пускай это и тому подобное с Арабского на Арабском языке и остается. Довольно нам и одного Греческого Анакреона, которому нам велят кадить, потому что он древний и Грек, хотя в новейшие времена нередко за приятельскими пирушками встречаются свои Анакреоны; но для Европейской гордости нашей слишком уже будет оскорбительно, когда захотят колоть нам глаза Арабским анакреонтичеством. Отрывок из сочинения об искусствах носит ту же загадочную подпись. В сей статье, которая по большей части

одна компиляция, но довольно искусно и живо составленная, полушуточно, полуучено, полумифологически, полусторически, излагают мнения о могуществе музыки и степенях состояния её у разных народов. Письмо о Русских романах, или, правильнее, о возможности писать Русские романы, произведение г-на Погодина, умное и занимательное. Признаемся однакож, что, соглашаясь с ним во мнении, что у нас в истории встречаются предметы для поэтических романов, сомневаемся в богатстве наших материалов для романов в роде Вальтера Скотта. В нашей истории, по крайней мере до Петра Великого, встречаются, разумеется, лица, события и страсти, но нет нравов, общежития, гражданского и домашнего быта: источников необходимых для наблюдателя-романиста. Жаль, что автор, в письме своем о Русских романах, задевает, как многие из наших комиков, погрешности условные, мнимые, а не существенные. Описывая, например, общество, в коем он находился, продолжает он: «Сперва похвалены были, как водится, все присутствовавшие взаимно друг другом». — Характеристическая-ли это черта наших нравов? Мало ли в наших блистательных собраниях встретится истинно смешного? За чем прибегать к общим, так сказать, давно заданным уликам? «Сколько есть у нас Тарасов Скотининых», говорит автор: и тут не метит он в цель. Тарас Скотинин и в комедии Фоневизина карриатура, а не портрет. Пред пороком и глупостью не должно выставлять увеличительное зеркало: им это по руке. Они скажут:

«мы себя здесь не узнаем» – и ваши исправительные меры останутся без успеха. Лучше дотрогивайтесь слегка, но задирайте всегда за живое, то есть, за истинное. Читатели найдут еще в *Северной Лиры* произведения Гг. Шевырева, Титова, Веневитинова, Тютчева, кн. Одоевского и некоторых других, все они более или менее отличаются или игривостью мыслей, или теплотою чувства, или живостью выражения. Одним словом, *Северная Лира*, посвященная издателями любительницам и любителям отечественной словесности, может во многих отношениях заслужить их признательность.

Если главный признак альманаха *Северная Лира* есть какое-то поэтическое стремление в темную даль или надоблачный и отчасти облачный эмпирей, то главный признак *Календаря Муз* есть, напротив, прозаическое уклонение в дольнему миру. Тут, как в силу какого-то закона литературного тяготения, все, более или менее, земное, житейское; во, впрочем, с движением к некоторому усовершенствованию, потому что *Календарь Муз* на 1827-й год лучше того, который мы видели в 1826-м. Отделение прозы, содержащее 8 повестей, или, по крайней мере, восемь статей в повествовательном роде, довольно разнообразно. Не знаем кого благодарить за них: писатели оных остались или в совершенной безызвестности, или некоторыми заглавными буквами захотели только подстрекнуть любопытство наше, а не удовлетворить ему. Впрочем, до имен дела нет. Отделение стихотворное – не поэтическая часть *Календаря Муз*. За исклю-

чением малого числа стихотворений, заключающих в себе некоторое достоинство, прочее могло бы остаться в рукописи для домашнего обихода. Переписка с кумами, крестниками, о зубной боли, о журнале *Благонамеренном* и проч., и проч., эпиграммы в роде следующей:

Как у тебя, брат, красен нос!

– А вот-с:

Пью белое вино-с....

и тому подобное, теряет много от печати. Такие стихи, как некоторые домашние шутки, должно хранить про себя. Читатели *Календаря Муз* заметят здесь с удовольствием некоторые из эпиграмм А. Илличевского и остроумные стихи А. Измайлова, которые носят отпечаток Французской замысловатости. Выписываем их:

Любительнице кошек (с гравированным изображением кота)

Вот самый смирный кот!
Прошу принять его; от вас он не уйдет
И вам нисколько не наскучит;
Он не царапает и даже не мяучит;
Кормить не надобно: не ест да и не пьет,
На стул или под стул его вы положите,
И будет он лежать, не тронет ничего;
Лишь дальше от мышей держите,
А то они съедят его.

Детский Цветник и *Незабудочка* не должны быть рассматриваемы в литературном отношении. Посвященные детям, такие книги уже достигают своей цели, если удовлетворяют потребностям родителей и наставников, нуждающихся у нас в чтении для детского возраста. Скажут, что эти альманахи могли иметь более внутреннего достоинства, с лучшим согласием сочетать полезное с приятным, – не спорим; но, желая усовершенствования в книгах, посвященных детскому чтению, в сей немаловажной, хотя и не блестящей отрасли словесности народной, мы не менее того должны благодарить издателей *Детского Цветника* и *Незабудочки* хотя

они, в особенности же последний, упражняются с успехом в науке: о легчайшем способе составлять книги. Если ни о том, ни о другом не скажешь по истине:

«Мать дочери велит труды его читать»,

то по крайней мере скажешь: *позволит*, чего по совести не выговоришь о многих детских книгах, у нас издаваемых; они большею частью, по содержанию своему, и по языку и по слогу, кажется, составлены не с тем, чтобы приучать к чтению, а от него отучать. Подумаешь, что они издаются не только безграмотными по нечаянности, но и по системе, Омарами нового рода.

Отрадное упование, что в мире все стремится в возможному усовершенствованию, оправдывается *Невским Альманахом* на 1827 год. Он, против прошлогоднего, испытал счастливое превращение как в наружном, так и во внутреннем достоинстве. Остается ему еще много шагов впереди по сей стезе улучшиваний, тем более, что и *Невский Альманах*, как все альманахи и все человеческое, не могут достигнуть заветного совершенства; но все же есть движение вперед, которое нельзя оставить без внимания литературному оптимисту. *Замок Эйзен*, Эстляндская повесть, занимает в сей книге почетное место в прозаическом отделении. Она рассказана с большою живостью и увлекательностью и точно более рассказана, чем написана: некоторым из ученых письменников,

вероятно, покажется, что в ней слишком много известной своевольности и слишком мало письменного благочиния.

Несколько слов из *Гайдамаков*, Малороссийской были (составляющих, вероятно, отрывок из целого, потому что конца тут не видно), хотя и не имеют быстроты и оригинальности в слоге предыдущей повести, но не менее того заманчивы и приятны. Картина Малороссийской ярмарки блестит живыми и местными красками: лица хорошо означены, в событиях есть движение и занимательность. Не станем по частям разбирать сии два опыта повествовательные, посоветуем читателям познакомиться с ними. В добрый час промолвить, а в дурной промолчать – с легкой руки Вальтера Скотта и у нас зашевелилось что-то в области романической. Доныне покушения были маловажные, односторонния, подражания более некоторым замашкам Вальтера Скотта, чем духу его; но, придерживаясь литературному оптимизму, станем ждать лучшего, да лучшего, и наконец хорошего. Чтобы достигнуть до степени Вальтера Скотта, идя даже идти далеко за ним, но по одной дороге, нужно не одно дарование, воображение, потребны в тому и многое, к чему у нас еще нет доступа и некоторое всеведение, всеобъемлемость, коих у нас нет еще в обращении.

За достоинство части стихотворной *Невского Альманаха* ручаются имена Языкова, Козлова, Туманского и некоторых других, участвовавших в ней своими произведениями. Языкова *Послание к друзьям* кипит живостью и отвагою необык-

новенными, особенно же в первой и последней трети. О стихах Языкова можно сказать то, что он в начале *Послания* говорит о днях своей молодости:

Те дни летели, как стрела,
Могучим кинутая луком;
Они звучали ярким звуком
Разгульных песен и стекла;
Как искры, брызжущие с стали
На поединке роковом,
Как очи, светлые вином,
Они пленительно блистали.

В последних восьми стихах лучшая характеристика стихов Языкова.

Зубная боль и здесь была вдохновением поэтическим, как и в *Календаре Муз*. Из стихов г-на Панаева узнаем, что он страдал от жестокой зубной болезни, и вылечен был по милости красавицы, нам неизвестной. Грешно ему, что он утаил её имя. Объявив о нем, оказал бы он важную услугу многим страдальцам, подвергнутым сей несносной боли: они знали бы к кому прибегать в крайности. И тогда можно было бы сказать о стихах по Французскому выражению: *le remède est à côté du mal*. Кстати о зубах и об эпиграмме г-на Панаева, здесь же помещенной, вспомнили мы, что Д*** называет некоторые эпиграммы беззубыми. Мы заметили с своей стороны, что в этой эпиграмме отзывается большой навык в

роду идиллий.

Памятник Отечественных Муз драгоценен по многим отношениям. Издатель его собрал на жатве литературной забытые колосья и цветы, оставшиеся по следам многих знаменитых писателей ваших, умерших и живых, и заслуживает благодарность соотечественников, не равнодушных к именам, озаряющим литературную нашу славу. Имея в руках своих богатый запас прошедшего, освященный смертью, или хотя еще живую, но по крайней мере уже испытанную в горниле времени, славою, тем менее должен он был сочетать с светлыми именами Державина, Карамзина, Фон Визина, Суворова и некоторых других, имеющих постоянное право на внимание наше, имена темные и мало значительные. Издатель говорит в предисловии своем, что тени нужны и неизбежны в самой лучшей картине; но *Памятник Отечественных Муз* – не картина, а храмина и должен быть пантеоном памятных мужей, а не всемирною сходкою, где Бавий возле; Горация, великан вместе с карлами, поэты с рифмачаии. Напрасно издатель извиняется перед читателями в помещении своих собственных стихов: критики не на них укажут, если пришлось бы им требовать исключения из его собрания, хотя неоспоримо, что оно более отвечало бы своему заглавию и назначению, если издатель ограничился-бы одним подбором с вершин нашего Парнасса. Не должно полагать, что произведения знаменитых писателей, здесь помещенные, могут все служить новыми залогами в правах их на славу, уже опираю-

щуюся на твердом основании, но каждое из них возбуждает в нас или умилительные воспоминания, или чувства признательности и уважения, или новое участие любопытства, которое дорожит всякою приманкою для его ненасытной жадности. Разумеется, слава певца *Фелицы* не озарится новым блеском от стихов его, помещенных в *Памятнике*; но кто не порадуется находке следующих стихов его:

На птичку

Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой:
Пищит бедняжка, вместо свисту,
А ей твердят: «пой, птичка, пой!»

Черта к биографии Державина

Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных Содои:
Природа, нужда и враги.

Кто без умиления прочтет выписки из писем Карамзина, кто не услышит в них отголоска языка души, который еще недавно столь красноречиво вещал нам о всем высоком и прекрасном? Кто не узнает гражданина и патриота в следующей мысли и не сознается, что чувство, в ней отзывающееся, должно было ободрять и согревать историка в труде его, нам оставленном?

Для нас, Русских, с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, привидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России, или нет гражданина, нет человека. С сими понятиями, вероятно и закрою глаза для здешнего света, *roug voir plus clair*.

Русская оригинальность автора *Недоросля* отсвечивается в письме надворного советника Взяткина и в ответе на оное. Письма А. А. Петрова служат для нас драгоценным и горестным свидетельством, что смерть отняла у нас преждевремен-

но будущего писателя.

Стихотворения Львова (Федора Петровича) имеют какой-то свой характер и мы благодарим издателя *Памятника*, спасшего их от забвения.

В сатирических отрывках князя Горчакова есть резвость и сила, не всегда искусно оправленная в хорошие стихи, но сохранение оных приятная услуга поэзии нашей, бедной сатирами, хотя и есть чем поживиться сатире.

Басня: *Гербы и школьный учитель*, напротив, резка, сильна и оправлена в прекраснейшие стихи. Читая ее, замигает и защурится не один –

«Сбиратель крох чужих, каплун в литературе».

В шуточных посланиях Жуковского, здесь напечатанных, отзывается веселая замысловатость и необыкновенная увертливость и сила в языке стихотворном. Поэзия в виде *Лалла-Рук* достойна Английской поэмы и её автора.

За письма Батюшкова из Италии и Франции и некоторые первоначальные произведения автора *Онегина* должны мы также благодарить издателя, который, вместе с другими драгоценностями, похитил их из рукописных сокровищниц собирателей и пустил в обращение сей мертвый капитал нашей литературы. По справедливости должно указать бы теперь на то, что и останется мертвым капиталом, не смотря на живительные средства печати, употребленные издателем; но мы

находимся в каком-то миролюбном расположении духа, мы приветствовали умильно и ласково альманахи и не хотим на прощанье ссориться с ними. Худой мир лучше доброй брани.